



Александр СИЛИНСКИЙ
село Тарногский Городок, Вологодская обл.

РАССКАЗ

ФИЛЬКА - РОСОМАХА

Филипп Данилович Шамахов по прозвищу Филька-Росомаха был мужик малорослый, кряжистый. На короткой шее крепко сидела круглая голова с чёрными кудрями. Тяжёлую челюсть дополняла окладистая борода. Его волосатые руки казались неестественно длинными по сравнению с туловищем. Пронзительный взгляд цыганских глаз из-под нависших бровей, какая-то «прихлопнутая» походка на коротких ногах напоминали повадки этого лесного хищника. Росомаха не по размерам сильный, свирепый и ловкий зверь. Однажды Филька на спор принёс к своему дому, за полкилометра, из колхозного гаража на плече бетонный двухметровый пасынок, запросто мог перекинуть двухпудовую гирию через крышу бани. А уж в драке ему не было равных. В два кулака мужики не рисковали с ним связываться.

Несмотря на диковатость фигуры, деревенские молодухи не обходили его вниманием.

Бывало, в сенокосную пору мечет он копну сена. А мётальщик он был отменный. Раздухарится. Скинет мокрую от солёного пота рубаху. Обнажит своё мускулистое волосатое тело. Подойдёт к нему бабёнка:

— Ой, какой ты, Филюшка, шерстной-то, дай поглажу!

— Ну, погладь! — и на ушко ей: — А ты приходи вечером на конюшню, я тебя тоже поглажу.

— Ой ты, лешак бесстыжий! — замахнется та игриво граблями.

Филька жил со своим семейством в добротном доме, доставшемся ему ещё от деда. Ребятни в семействе было много: пятеро, и всё — девки. Четверо — погодки, росли здоровыми, бойкими. А вот пятая, заскрёбыш, уродилась глухоне-

мой. Так и звали её все в деревне Машка-Немко. Любил и баловал он её пуще всех. Сокрушался, конечно, Филька, что нет у него парня — наследника, продолжателя рода. Ну, так Бога ба-тогом не стукнешь: что дал, то дал.

Как-то по пьяной лавочке заикнулся жене Нюрке:

— А что, Аннушка, может, состругаем паренька, нестарые ишо?

Зря заикнулся. Та — в рёв:

— Ах ты, кобель ненасытный! Да чтоб тебе стругалку оторвало! Иди к своей солдатке, с ней и стругайте!

Было у Фильки на стороне, в соседней деревне, от Катьки — жёнки Васьки Кулика, что с войны не вернулся, два ребятёнка, и тоже девки. Заезжал поперво́й, пока на тракторе работал: конфет там, мясца подкинет... Те от гостинцев не отказывались, а вот папой ни разу не назвали. А однажды Катька заявила:

— Филипп Данилович, за дочерей тебе спасибо. И от меня, и от Васеньки моего, но дорогу сюда забудь, не ездь больше.

«Ишь ты, Филипп Данилович! А был ведь Филя, Филюшка, — думал Филька, нервно дёргая рычаги трактора. — Спасибо сказала, а вроде как и в душу плюнула».

В послевоенные годы никто сильно не осуждал хождение «налево». Война изрядно перемолотила мужицкое поле деревни. Треть мужиков легли непрорастающим зерном в родную и чужую землю. Солдатки, невесты не вернувшихся с фронтов мужей и женихов заглядывались на подрастающих парней, чьё босоное детство выпало на годы военного лихолетья. Да и сверстницы подрастали.

Скляным стаканом испил детского горюшка Филька. Похоронка на отца пришла весной сорок второго. На руках у матери Фёклы Фёдоровны осталось трое детишек: Филька, которому пошёл десятый годочек, Альбина, двенадцатилетняя сестра его, и младший — пятилетний Костя. А к осени остались они и без матери, арестовали её, как говорили в то время, «за колоски».

На всю жизнь запомнил Филька тот пасмурный августовский вечер. В избе без стука

ввалились трое: милиционер, дядька в шляпе (уполномоченный из района) и дядя Митя — родной брат матери, парторг местной партячейки.

— Ты будешь Фёкла Фёдоровна Шамахова? — спросил мужик в шляпе, доставая из потёртого портфеля какие-то бумаги.

— Я самая и есть, — испуганно ответствовала мать.

— Понятые, заходите! — Милиционер распахнул двери.

Через порог избы молча перешагнули две деревенские соседки и Гриша Дёмин, как его все звали в деревне, — худошавый мужик с седеющей бородой. Все сгрудились у печи.

— Ну что, Фёкла Фёдоровна, расхищением колхозного имущества занимаемся? Вот бумага на тебя пришла. Собирайся, с нами поедешь, — вымолвил строго уполномоченный.

— Да вы что, товарищи родненькие, Митя, брательник, какого имущества? — зарыдала Филькина мать.

Милиционер метнулся в куть, загремела печная заслонка, и он брякнул на стол дымящийся чугунок. По избе поплыл сытный запах ржаной похлебки.

— А вот и улика, — хмыкнул уполномоченный, — сдаётся, из ворованного с колхозного гумна зерна приготовлена. Пиши протокол.

Фёкла упала на колени:

— Родненькие! Да я две горсточки только и взяла-то! Ребятёнки оголодали на лебедь да крапиве...

— Ты — две, другая — две... Дай вам волю — так всю страну разворуете. А время у нас... Сами знаете, какое время — военное. Всё для фронта — всё для победы! — строго выговорил мужик в шляпе, зачем-то тыкая пальцем в потолок. — Граждане, подписываем протокол.

Соседки покорно подошли к столу с бумагой, шепча: «Да минует нас эта беда».

— А ты чего? — строго и удивлённо спросил уполномоченный Гришу Дёмина.

— А я не буду ничего подписывать.

— Это ещё почему?

— А я ничего не видел. У Фёклы Фёдоровны муж на войне убитый, она с утра до ночи жилы рвёт на колхозной работе, а зимусь на лесозаготовках мантузила. Трое детишек на руках. А на трудодни шиш да не шиша... Догадываюсь, из чьей подворотни на неё эту клеюзу надуло.

— Что?! — лицо под шляпой побагровело.
— Да я, да я тебя вместе с ней заарестую!

— Не пугай, пуганый.

— Ну, я тебе ещё это припомню! Собирайся, гражданка!

— С кровинушками-то моими что теперь будет? Куда же их теперь?

— В детдом определяют.

— В детдом?

Мать ещё громче зарыдала, схватила дядю Митю за руку:

— Братик, родненький, возьми к себе ребятёнок, вы же бездетные, Христом Богом прошу, возьми!

У того безбородое лицо покрылось пятнами, глаза испуганно забегали по сторонам, выдернув руку, молча отшагнул от сестры. Альбина с Костей плача бросились к матери, зашмыгали носами соседки. Филька, сидевший на лавке в красном углу, исподлобья буравя цыганскими глазками непрошенных гостей, перепрыгнул через стол, загородил мать:

— Не дам мамку забижать! Отпустите мамку!

— Ишь ты, волчонок!

Уполномоченный оттащил его за шиворот от матери, пихнул к лавке ногой в грязном сапоге. Филька видел, как Гриша Дёмин, сжав до белизны в костяшках кулаки, походя задев плечом дядю Митю, да так, что тот, заперев ноги, чуть не упал, подошёл к мужику в шляпе и угрожающе бросил ему в лицо:

— Не трожь мальчонку!

Милицонер подскочил к Грише Дёмину, схватил его за ворот и, тыча наганом в седеющую бороду, заорал:

— Ты на кого зубами скиркаешь! А ну, охолопись! Смотри у меня, загремишь кандалами! А ну, все отошли от арестованной!

— Детоньки мои, детоньки, как же вы теперь? Митя, Христом Богом!.. Митя, возьми к себе! — причитала Фёкла, завязывая в шаль кой-какую одежку, машинально доставая с полатей, с печи. Соседки отвели детей в куть, успокаивали как могли.

— Ладно, Фёкла, детишек я пока к себе заберу. Разберутся. Отпустят, может, — утешал Филькину мать Гриша Дёмин, помогая ей завязывать узелок с одеждой.

— Спасибо, Гришенька, спасибо. Как же ты? У тебя у самого трое.

— Так Данила другом мне был, да и родственником, хоть и дальним. Не тужи, Фёкла, проживем, наладится уже всё.

Не наладилось. Дали Филькиной матери восемь лет лагерей. Только к весне сорок седьмого вернулась она в родную деревню, отпустили по амнистии.

У Гриши Дёмина Филька с сестрой и братом прожили два месяца, самых счастливых в Филькином детстве. Спали на полатах вповалку под овчинными тулупами все вшестером.

Однажды ещё затемно разбудил его Гриша Дёмин:

— Филя, вставай, со мной пойдёшь, вот тебе пестерик. Одевайся.

Холодная осенняя ночь приняла их в свои объятия, они словно растворились в этой непроглядной, безмолвной темноте. Ни звёзд, ни луны не было видно. Ни земли, ни неба — только холодная чёрная пустота. Филька торопливо семенил ногами, стараясь не отстать от Гриши Дёмина.

Бледно-синяя осенняя заря застала их на лесной просеке. Лениво, потихоньку начала теснить ночную черноту. В лесу ещё было темно, но вершины сосен и елей уже явственно прорисовывались на фоне бледнеющего неба, раскачивались, разгоняли серые тучи, в прогалины между ними поблёскивали утренние звёзды.

— Распогодится, однако. Умаялся, поди, Филя? Сейчас передохнём.

Гриша Дёмин остановился у поваленной сушины. Ловко сдёрнул бересту с молодень-

кой берёзки, наломал сучьев, запалил костерок.

— Не, не умаялся... А куда мы идём, дядя Гриша?

— Да полесовать маненько, кой-какой приварок к столу добыть. Вон сколько вас у меня, ртов-то. На-ко вот перекуси.

Гриша протянул Фильке пару картофелин с луковицей.

— А как это — полесовать? — спросил Филька.

— Ну, поохотиться, значит. У меня тут силки расставлены. С ружьём бы сподручнее, так грохоту от него, того гляди услышит кто, не сдобровать.

Гриша Дёмин поставил на угли прогорающего костерка жестяную банку, наполненную водой, бросил в неё пару веточек брусничника с ягодами.

— Вот почаёвничаем и дальше пойдём. На-ко вот паренцу к чаю. С сахаром туго совсем нынче, брат, не дай бог. Не миновать, думаю, и мне этой войны. Ты вот что, Филя, не болтай никому, что мы вот тут были. Донесут — так худо мне будет. И пуще всего остерегайся Ваньку Полицу, из-за него ведь Фёкла, матушка твоя, в лагерях мается. Ну, да бог ему судья... Да и тебе рано об этом знать.

— Не, я никому не скажу, — торопливо отозвался Филька.

— Ну и ладно, потопали дальше.

Гриша свернул с просеки на путик, только одному ему известный и знакомый. Не прошли и сотни шагов, как Филька заметил на молодой ёлочке какой-то серый, с растопыренными перьями комок, похожий на птицу.

— Дядь Гриш, глянь, кто это?

— Да ты глазастый парень, однако рябок это, ишь, угодил-таки в силок-то. — Гриша Дёмин отцепил птицу, запихал в Филькин пестерик. — Ну, вот с полем тебя, Филя.

— Как это?

— Дак у лесовиков-охотников присказка такая водится: первая добыча — так «с полем» говорят, с почином, значит.

К полудню вышли они на лесную вырубку

на высоком берегу речки Еденьги, что протекала и у их деревни Заболотья.

— Дядь Гриш, а до нашей деревни далеко?

— Чего, упетался? Да вёрст с десяток мы с тобой отмахали. Не тужи, обратно мы с тобой, Филя, по реке сплавимся до самого дома с комфортом. А пока располагайся, ягодок пособирай девчонкам нашим на радость. Я тут недалече сбегаю, кое-что проверить надо.

Гриша вытряхнул содержимое пестерей на широкий пенёк.

— Добычу вот нашу постереги.

Из добычи было два рябка и большая чёрная птица — глухарь. Он попался в силок под высокой сосной. Как пояснил дядя Гриша: у глухарей есть такие места, порхалищами называются, обычно под старыми соснами или выскирями, где почва песчаная. На них птицы прилетают почистить перья, мелкими камешками зоб набить, чтоб зимой сосновую хвою перемалывать. Филька с интересом рассматривал глухаря, разглаживал чёрные перья с зеленоватым отливом по крыльям. И был горд, что он тоже причастен к этой добыче. Правда, когда дядя Гриша свернул шею живой ещё птице, ему было как-то не по себе.

Вырубка была усыпана спелой, крупной брусникой. Ягоды сверкали на солнце, словно драгоценные россыпи. Насытившись сам, Филька стал собирать их в пестерик. Ягод было много: двумя горстями срывал он их, с восторгом предвкушая, как будет угощать домочадцев. Самые крупные непременно отберёт для Нюрки, младшей дочери Гриши Дёмина. Нравилась она ему.

Вскоре пестерик наполнился ягодами. Филька прислонил его к пню, сам улёгся рядом. Да и задремал, обласканный ещё теплым осенним солнышком. Разбудил его стук топора. В подугоре, на берегу реки Гриша Дёмин мастерил плот, перерубая на брёвна ствол сухой ёлки. Закатное солнце играло бликами мелких волн речного переката. За ним, выше по течению, тянулось плёсо, усыпанное конопушками из разноцветных осенних листьев.

Вода в нем была тёмной и, казалось, неподвижной. Высокие ели обступали его с обоих берегов, окрашивая речную гладь чернотой своих крон.

— А, Филя, проснулся! — окликнул его Гриша Дёмин. — Ну, тащи сюда наши пожитки. Как бы не отемнать нам. Не ровен час — на перекате на камень наскочим.

Когда плот был готов, Гриша уложил на него две связки еловых кольев.

— Это на грабловища и для отмазки, — пояснил он, усмехаясь.

Поверх приладил пестери, привязав для надёжности их верёвкой. Из большого пестеря тянуло запахом свежей рыбы, из-под крышки торчали щучьи хвосты.

— Ну, с Богом, — Гриша оттолкнул колом плот от берега на середину реки.

Смеркалось. На смену утонувшему в лесных дебрях солнцу выкатилась луна, проторив по речной глади лунную дорожку. По ней и правил плот Гриша Дёмин, ловко управляя колом-пёхалом. Течение было быстрым. И как показалось Фильке, они очень скоро доплыли до деревни. Дом Гриши Дёмина стоял у самой реки, на угоре. Когда причалили к берегу, из-за угла избы вынырнул тёмный силуэт человека.

— Вот ведь, зараза, пронюхал-таки! — громко проронил Гриша.

Это был Ванька Полица.

— Здорово, полуношники! Как полесовали, Григорий Дементьевич?

— Да какое полесовали? Она за кольём для колхозных нужд ходили, да маненько и порыбачили по пути. На-ко, вот тебе, Иван Палыч, на ушицу.

Гриша Дёмин бросил к ногам его две большие шуки.

— Ну, ну... За шук спасибо, уж не подавлюсь, — с ехидцей в голосе ответил Ванька.

— И как только таких гадов земля держит? — вымолвил Гриша, когда тот растворился в темноте.

«Охотников» домочадцы встретили радостно. А когда ребятня устраивалась спать на полатах, Филька поставил в изголовье кружку спелой крупной брусники.

— Это тебе, — прошептал он на ушко Нюрке.

— Мне? — воскликнула та и зарделась. — Филюшка, спасибо, родной! — и чмокнула его в щёку.

— На здоровье, — пробурчал Филька, смутившись.

— Филь, а Филь, а я тебе глянусь? А когда мы вырастем, ты меня замуж возьмёшь? — пристала она к нему с вопросами, уплетая за обе щёки ягоды.

— Вот ещё, больно надо, — Филька ущипнул Нюрку за бок.

Та взвизгнула.

— Ну-ко, там угомонитесь! А то вот возму лицу да и отхожу как следует! — раздался строгий голос Нюркиной матери.

Когда взгрудилась дорога и первый снег припорошил уставшую от осенних дождей землю, почтальонка принесла Грише Дёмину бумагу о явке в военкомат. Пришёл и его черёд идти на войну.

Вскоре и Фильку вместе с братом и сестрой увезли в разные детские дома далеко от родной деревни.

О жизни в детдоме он не любил вспоминать. Было всяко-разно: и голодно, и боязно. Но в обиду себя он не давал. Дрался с обидчиками до крови, остервенело, не уступая в драке и более старшим сотоварищам. И пошёл по детдому слушок, что с этим Росомой лучше не связываться.

С братом и сестрой встретился Филька лишь в сорок восьмом году, когда вернувшаяся из лагерей мать собрала их в родном доме. Альбина выглядела уж совсем взрослой девушкой. В хрущёвскую «оттепель» она уедет на целину да там и останется на всю жизнь. Костю при встрече он даже не узнал: подрос, возмужал парнишка. Повзрослев, он оседет в городе и будет редко приезжать в деревню.

Фильке к тому времени стукнуло пятнадцать годков.

Надо было налаживать своё хозяйство. Хотя война и закончилась, но жизнь в деревне была не сахар. Кое-как обзавелись коровёнкой. Мать устроилась на колхозной овчар-

не работать. Филька по две зимы вкалывал в делянках на лесозаготовке. Потом выучился на тракториста, но поработать не успел. Призвали в армию.

Служил в Германии в роте связи. Забираясь на столбы на монтерских когтях, он наблюдал, как живут немцы. «Не худо живут. Всё-то у них ухожено, ухлопано, порядок во всём. Да и достаток в хозяйстве, похоже, есть, не голодают, — думал Филька, вспоминая свою бедную деревню, вечно хмурую мать, иссохшую, почерневшую от повседневной, с утра до вечера, тяжёлой работы. — А немки, вона, выхохатывают, тряся дородными округлостями телес. Лепечут о чём-то на своём языке, ему ручонками машут».

После армии Филька не сразу вернулся в родной дом. Завербовался, поддавшись на уговоры товарищей, на освоение целинных земель.

Кроме дембелей-солдатиков, были там и комсомольцы-добровольцы. Полевой стан располагался прямо в степи, жили в старых дырявых армейских палатках. Пахали и днём и ночью. Тянули борозды на гусеничных тракторах по казахстанской степи: день в одну сторону, ночь — в другую. Тяжёлая работа, неустроенный быт не тяготили Фильку. Дело привычное. А вот к этим степным просторам с каким-то приплюснутым небом, однообразием красок не лежала душа. Ни берёзки, ни сосенки, ни кустика — глазу не за что зацепиться.

Однажды пахал он в ночную смену да и заснул за рычагами трактора. И приснилась ему та лесная вырубка с брусничкой над речкой Еденьгой. И небо... северное небо, подпираемое высокими елями, отчего оно казалось ещё выше, глубже. А на нём — облака. Все разные. Вот облачко белое-белое, кудрявое, весёлое, другое — подёрнуто чернотой, хмурое, насупленное. И все они словно заглядывали в душу, манили Фильку в родные края.

Разбудили его ржание лошади и окрик бригадира:

— Ты чего, едрит твой корень, делаешь-то! Куды с борозды-то свернул? Под суд за-

хотел! Улепётывай-ко ты, парень, в свою деревню.

После этого случая, собрав нехитрые пожитки, Филька и улепетал в родные края.

Покурлесив недолго, посватался к Нюрке, дочери Гриши Дёмина. Тот с войны вернулся целёхоньким. Но к тому времени сильно недюжил. Благословив молодых, он вскорости и помер. Так и не успел показать зятю все свои охотничьи путики, ловчие ямы да рыбные омота. Да и не до этого было Фильке первые годы: работа на тракторе в колхозе, дедов перёд надо было поднять, осел на один угол, новую зимовку срубить, баню. Только уповадами удавалось сбегать в лес с ружьишком: осенью рябков поманить, по весне глухаря на току взять или тетерева. Рыбачил под деревней: морды ставил, донки, да и с удочкой удавалось посидеть на зорьке.

Однажды наведался к нему домой дядя Митя, брат матери. Филька старался избегать встречи с этим родственником. Крепко был обижен на него за мать, за себя и брата с сестрой, за ту маету, что им пришлось испытать в детстве, мыкаясь по детдомам.

— Ну, здравствуй, племяш! Пустишь ли за порог-то?

— Раз пришёл, так уж переступай, Дмитрий Фёдорович, — с некоторой ехидцей в голосе ответил Филька. — Да проходи к столу-то, поговорить пришёл аль нужда какая привела?

— Поговорить, Филя, поговорить. Да и дело у меня к тебе.

Дядя Митя присел на лавку, вытащил бутылку водки из рукава, поставил её на стол.

— Закусить-то есть чем?

— Да уж найдём, не прежние времена, когда от клеверных да крапивных лепёшек брюхо рвало, — ответил, ухмыляясь, Филька, доставая из печи дымящийся чугунок с мясом.

— Ты, Филя, прости меня, прости! Но не мог я тогда вас к себе взять, должность не позволяла привечать детей врага народа...

Дядя Митя неуверенно дотронулся было до руки Фильки. Но тот отдернул руку, вскочил из-за стола.

— Что? Это моя матушка, твоя сестра — враг народа?! Да ты!.. Да я тебя!.. Ну, и стержеза же ты, дядя Митя!

Походя по избе и успокоившись, Филька присел к столу.

— Ну, говори: какое такое у тебя дело ко мне?

— Ты же знаешь, лесником я работаю колхозным. Так уж годы, Филя, да и здоровье не то, да и пенсионер уж я нынче. Так не хошь ли вместо меня в лесники-то? С начальством поговорю, словечко за тебя замолвлю. Соглашайся, племяш. Вижу, тебя тянет к лесу-то.

— Эвоно как? Ладно, соглашусь, по рукам! Наливай, дядя Митя.

Так и стал Филька-Росомаха колхозным лесником.

Обход ему достался немаленький. За день едва обойдёшь. На том угоре, что в детстве бруснику собирал, над речкой Еденьгой, сладил он себе охотничью избушку-полуземлянку. От неё путики охотничьи проложил. Добывал куничек, белок в капканы или из-под собаки. Но пуще всего ему нравилась рыбалка. Все рыбные ямы спознал. На лодке-дошанике, которую сам смастерил, поднимался почти до истоков Еденьги, что брала начало в Ефимовом болоте. Ни в лесу, ни на реке не охальничал. Молодняка, самок ни зверя, ни птицы не трогал. Лесорубочные ордера выписывал по справедливости. Земляков не обижал. Если лес кому-то на сруб бани или избы был потребен, отводил в делянке дерева, подходящие для таких строений.

Всё изменилось, когда в стране грянула, как гром с ясного неба, перестройка. Привычный уклад жизни надломился. Словно лесной ураган пронёсся по душам людей, превращая всё в непроходимый бурелом. Умом-то понимал, но сердцем Филька не мог принять этих перемен.

Исчезали государственные лесопункты, леспромхозы. Заготовкой леса, спрос на который все рос и рос, занялись предприимчивые людишки-предприниматели. Лесной госфонд таял на глазах. Колхозные леса ещё стояли, но и к ним уже тянулись руки «новых русских».

Шёл как-то Филька на лыжах надельной просекой и услышал визг пил, грохот падающих деревьев. Четверо молодых мужиков валили ёлки за надельной просекой, в колхозном лесу, в его обходе.

— Вы что же, гады, делаете! — возмущённо закричал он.

Те заглушили бензопилы. Обступили Фильку.

— А ты кто такой, дядя? — с вызовом спросил мордастый, упитанный мужик.

— Я-то лесник тутошний. А вот вы кто такие? Кто вам разрешил здесь рубить? Я ордера не выписывал, делянку не нарезал.

Лесорубы молча и растерянно переглянулись. Мордастый положил Фильке руку на плечо.

— Чего кричишь-то, дядя? Договоримся миром. Сколько хочешь?

— Я хочу арестовать вас и чтобы вы ответили за незаконную рубку, по закону ответили. — Филька сдернул с плеча ружье, взвёл курки.

— Ишь ты, какой приткий... Законник, значит? — процедил сквозь зубы мордастый мужик и, резво прыгнув к Фильке, выдернул из его рук ружье, бросил в снег. — Мы ведь и по-другому можем, дядя, вот заведу пилёшку да располовиню тебя с головы до задницы, да и закопаем вон под тем выскирём.

От таких угроз у Фильки всё вскипело внутри, в цыганских глазах блеснули злые огоньки. Размахнувшись, он ударил кулаком мордастого мужика по лицу. Тот упал навзничь, словно щи пролил. Прошла минута, две — мужик не шевелится. Подошёл его сотоварищ, потряс за голову, шею пощупал, припал ухом к груди....

— Ты же убил его, — испуганно глядя на Фильку, проговорил он.

Удар пришёлся в висок. Было следствие. Суд. Дали Фильке пятнадцать лет тюрьмы. Мужик-то тот каким-то родственником приходился влиятельному человеку в районе.

Через семь лет отправили его домой. Обезножил Филька. То ли гангрена, то ли другая какая болезнь приключилась: отрезали ему

обе ноги по самые ягодицы. Жена его, Аннушка, померла к тому времени. Старшие дочери по городам жили. Встретила его младшенькая — Машка-Немко. Жила она одна в доме.

По избе наловчился Филька передвигаться на руках. А для улицы смастерил он себе тележку-тарантайку на подшипниках. Зимой охотничьи лыжи к своим култышкам привязывал. Сиднем не сидел: дрова пилил да коллол, и иную мужицкую работу по дому делал на удивление соседям. Корзины из дранки мастерил, надоумив дочь, где для этого сосенки порубить в ближнем болотце. Зобеньки плёл из лыка, которого со времён его лесничества немалый запас хранился на повети. Спрос на его изделия был, из райцентра приезжали, покупали. Для хозяйства, для дома прибыток, да и для себя работа. Инвалид инвалидом, но не был Филька обузой ни для дочерей, ни для своей мужицкой сути.

А душа его тянулась туда — к омутам речным, к путикам охотничьим, к лесной тишине, к вырубкам брусничным, к рассветным туманам, загадочным, волшебным над речкой Еденьгой. И надумал Филька наведаться в свою охотничью избушку по весне, когда спадёт полая вода. Всю зиму ремонтировал, смолил свою лодку-дошаник, что ждала хозяина в сараюшке.

А когда пришло время — решился, несмотря на уговоры дочери, которая, заламывая руки, обнимая его, лопотала на своём языке: тятя, тятя, не надо, не плавай ты никуда.

— Через три дня вернусь, не убивайся ты, Машуня, всё будет хорошо, — успокаивал Филька дочку.

Прошло три дня. Машка-Немко с утра до вечера сидела на берегу реки. Ждала, не покажется ли лодка с её отцом. А на шестой день ранним майским утром деревенские жители услышали громкие вопли с реки. Соседи потянулись на берег. Машка-Немко вытаскивала из реки пустую лодку, рыдая...

Участковый организовал поиск пропавшего Фильки. На моторке поднимались до самого истока Еденьги. Ставили сети. Обсле-

довали Филькину избушку, у которой провалилась крыша. Никаких следов пребывания в ней человека не нашли. Обследование реки тоже не дало результатов. «Как сквозь землю провалился», — говорили деревенские бабы.

Дочь его совсем умом тронулась. Сёстры увезли её в город, пристроили в интернат для инвалидов. Опустел Филькин дом. Как-то среди бела дня раздался треск, грохот. Перёд дома вдруг осел на один угол, шиферная крыша с треском съехала на землю. С тех пор деревенские жители, крестясь, обходили его стороной. Казалось, кто-то бродит внутри дома, какие-то тени мелькают в покосившихся окнах.

И только через год, зимой, лесозаготовители наткнулись под разлапистой елью, недалеко от той старой вырубki над речкой Еденьгой на обезноженное, изглоданное лесными зверьками тело Фильки-Росомахи.

СКЛАДЕНЬ Рассказ

Дед Тимофей по прозвищу Лобач сидел на лавке у окна. Его жена Дарья возилась в кути: гремела печная заслонка, шаркал днищем противень по поду печи, ароматно пахло пирогами.

Жили они в доме, построенном ещё отцом Тимофея. Тот был хорошим плотником. А вот сыну это умение не передалось. Да и телом для нелёгкой плотницкой работы не вышел: жидковат, неширок в плечах, суховат в руках. Выделялась во всей фигуре неестественно большая голова на тонкой шее. Широкий большой лоб, нависающий над глазами, словно вдавливал их внутрь. За что и получил Тимофей прозвище — Лобач. Не обижался. Да хоть заобижайся! У всех в деревне были прозвища. Припечатают так уж припечатают — в самую точку, то ли за изъян какой в фигуре, то ли в характере, в поведении человека.

Была в доме и газовая плита, и электрическая плитка, но еда из русской печи — это не только радость для желудка, а и отрада для

души. Да и повод был для хорошего застолья — на календаре 8 марта, Международный женский день, двойной праздник для Тимофея с женой. Супруги разменяли по восьмому десятку. А поженились они как раз восьмого марта.

За окном веселилось мартовское солнце, высекая искорки в каплях воды, что сбрасывали длинные сосульки, свисающие с крыши избы. Весенняя синева неба радовала глаз. Где-то под стрехой весело чирикали воробьи. На вершине черёмухи неугомонно трещала сорока. Пёс по кличке Шнырь, повизгивая, кувырчался в сугробе.

— Ну вот. Ещё до одной весны дожили, — проговорил негромко Тимофей, помахал рукой собаке, которая, увидев его в окне, зашлась громким лаем, истово крутя хвостом.

— Чего это Шнырь-то разлаялся? — спросила Дарья, выглянув из кути. — Не гости ли к нам?

— Да нет, это он со мной здоровается. А ты каких гостей ждёшь?

«Гости, гости... Откуда им взяться, — подумал Тимофей. — Единственная дочь в Питере живёт, лет пять уж в деревне не появлялась. Внуками не одарила. А в деревне из двадцати домов жилых-то пять осталось. Летом-то, конечно, полуднее бывает, приезжают из городов бывшие деревенские...»

Тимофей включил телевизор. В передаче чего-то говорили об иконах. Ведущий — видимо, батюшка, с чёрной длинной бородой, с крестом на груди, — брал в руки икону и, покрестившись, рассказывал о ней. Тимофей в Бога-то не шибко верил. Какая уж вера, если, считай, всю сознательную жизнь работал парторгом в колхозе... Строил светлое коммунистическое завтра. Всё изменилось, когда грянула в стране перестройка — перетряска всего и вся. И в голове, и в душе всё пошло кувырком.

На экране показали складную трёхстворчатую иконку. И тут на Тимофея нахлынули воспоминания. Зримо увидел он тот медный складень, что был семейной реликвией, что

ли. Он стоял на полке в кути. К церковным праздникам бабушка начищала его, и складень отливал золотистым светом.

...Тимофею было лет пять или шесть. По детской глупости решил он узнать, из чего же сделана иконка. Когда не было никого дома, достал складень с полки и стал строгать кухонным ножом по его кромке. За этим занятием и застал его отец.

— Ты что же, охальник, делаешь-то?

От отцовской оплеухи Тимофей отлетел к печке и заревел благим матом. На складне с тех пор остались небольшие зазубринки.

В перестроечные годы, когда в магазине было хоть шаром покати, стали ездить по деревням предприимчивые людишки, выменивали на муку, сахар, курево, деньги старинные вещи у деревенских жителей. Зашли как-то двое молодых парней и в дом к Тимофею. Поддавшись на уговоры, жена Дарья выложила перед ними пару старинных сарафанов, рушник вышитой, гойтаны, что остались от её матери. Договорились о цене. Тимофей не перечил: её наследство — сама и распоряжайся им.

— А икон у вас нет? — спросил низкорослый, мордастенький, с хитрыми бегающими глазами парень.

— Нет, — ответил Тимофей.

— Жаль. Хорошо бы заплатили. Ну, а пестерей, зобенок старинной работы?

— Пестерь есть, сейчас принесу.

Тимофей вышел из избы. Слазил на поветь.

— На вот тебе. Поди-ко прадед мой ещё плёл. За десять пачек папирос отдам.

Тимофей поставил к ногам мордастенького паренька пестерь.

— Договорились. Всего вам, хозяйева, доброго.

— Ишь ты. Вежливые какие...

Тимофей присел на лавку. Закурил. На душе его было как-то пакостно, будто помоями облили. Нет, пестеря ему было не жалко. Так бы и пропал. Отслужил своё. Как и он: тот же пестерь, выкинутый на поветь жизни

за ненадобностью. Обидно было за то, что вот уже последнее тащат из того деревенского уклада, что веками пестовался. Во все времена, в годы лихолетий, войн страна на деревне держалась. И вот умирает она. И никакие прожекты возрождения деревень, о коих талдычат порой по телевизору, не помогут...

Тимофей пошёл выкинуть окурок в печь. Отдернув занавеску в куть, оторопел: складня на полнице не было

— Дарья! — громко и зло окликнул он жену. — Где икона? Продала, зараза?

— Да не продавала я, Тимоша, что ты, родной.

— Так где складень?

— Ой, беда! Так украли его, украли... Этот кругленький-то парнишка, пока ты, Тимоша, за пестерём-то ходил, пить попросил, а я, дура, и послала его в куть к бачку с водой. Он стащил икону. Он!

Тимофей выбежал на улицу. В дальнем конце деревни мелькнула легковая машина и запыхнула по полевой дороге к большаку. Разве догонишь...

Хотел было Тимофей в райцентр ехать, в милицию заявить о краже, да передумал: где же теперь этих прохиндеев отыщешь? Они, может, и не из области, а весть знает откуда. Ищи ветра в поле. Так и смирился он с потерей складня — семейной реликвии.

А года три назад довелось Тимофею съездить в областную столицу с глазами: операцию сделали на правый глаз, хрусталик поменяли. Из больницы-то выписали, приехал он на автовокзал, а до отправления автобуса в его райцентр часа четыре ждать. Пошёл прогуляться по окрестностям городским.

На глаза попала вывеска «Антикварная лавка». За окном самовары медные стоят, прялки резные. Зашёл он в эту лавку и оторопел. Чего там только не было: самовары, братыни, рушники, ковши медные... В витрине под стеклом крестики, гойтаны, иконки медные одинарные и складни. Тимофей стал разглядывать их, и ёкнуло что-то у него под сердцем. «Это же он, его складень. Точно его, вот и зарубки», — после операции-то глаза-

стым стал. Подошёл к нему мужчина, видимо хозяин лавки, упитанный, лицо широкое, подбородок тройной и... бегающие, хитрые глазки. Признал Тимофей в нём того мордастого паренька.

— Дедуля, вы что-то приобрести хотите?

— А как тебя звать-то?

— Александр Николаевич, а что?

— А то, Олёксандр, что признал я тебя. Вот этот складень ты из моей избы украл. Помнишь, поди? Так верни его мне подобру! — глядя в глаза хозяину лавки, угрожающе вымолвил Тимофей.

— А то что?

— А то я в полицию заявлю.

— Да ты, дед, гляжу, белены объелся. Ступай-ка ты подобру-поздорову отсюда, а то я сам полицию вызову.

— Вызывай. Никуда я не уйду, пока складень не вернёшь, — обозлился Тимофей.

Александр Николаевич куда-то позвонил по телефону, и вскорости в лавку зашёл полицейский, представился местным участковым. Сначала потребовал от хозяина какие-то бумаги, просмотрев их, вернул обратно. Выслушал рассказ Тимофея про историю со складнем. Повертел в руках иконку, зазубринки пощупал и проговорил:

— Тимофей Иванович, видите ли, прямых улик о том, что это ваша икона, нет. Зарубки эти к делу не пришьёшь. Извините. Езжайте с миром домой.

А вот адрес он всё-таки записал.

Выходя из лавки, Тимофей безнадежно промолвил, обращаясь к хозяину:

— А тебя, Олёксандр, Бог-то накажет, помни моё слово.

— ...Тимоша, о чём задумался? — Дарья потрясла мужа за плечо, вернув его из воспоминаний в сегодняшнее бытие.

Она накрывала стол. В центр положила ароматный пирог с брусничкой.

— Садись, дедко, праздновать будем наш с тобой день.

Только сели за стол, снова залаял Шнырь. В дверь постучали.

— Да! Да! Заходите!

Это была почтальонка Люська.

— Заходи, заходи, Людмила, гостей будешь. Разболокайся — да за стол с нами, наливочки выпьем, — пригласил Тимофей.

— Да я так-то по делу к вам. Вот посылочку тебе принесла, Тимофей Иванович.

— Посылку? От кого, интересно?

— От дочери из Питера, — предположила Дарья.

— Да нет. Обратный адрес не питерский, да его и нет вовсе. — Люська положила небольшую бандероль на стол перед Тимофеем.

Он развернул хрустящую почтовую бумагу, разорвал конверт и достал из него икону — трёхстворчатый медный складень с ликами святых. Люська с Дарьей опешили, удивлённо глядя на икону. Тимофей минуты две молча трогал, гладил дрожащими пальцами складень, а потом задумчиво промолвил:

— Вот что, девоньки, я вам скажу: Он всё-таки есть, существует!

— Эй, дедко, ты о чём? Кто существует-то?

— Дарья подёргала мужа за руку. — Что с тобой? Кто существует-то?

— Бог!

— А я в Бога верю, — Люська перекрестилась. — А кто икону-то прислал, Тимофей Иванович?

— Ты с какого года-то?

— В восемьдесят первом родилась, а что?

— Так тебе легче верить-то...

— Почему? — удивилась Люська.

— Да потому, что мозги у тебя сильно не загажены всякой всячиной.

— Ну-ко, ну-ко. Дай гляну, — Дарья взяла в руки икону. — Так это же наша! Она в кути на полнице всё время стояла, а потом украли её у нас. Помнишь, дедко? А кто прислал-то её?

— Я всё помню. Вот и поставь складень на свое место. Кто прислал, спрашиваете? Так Он и прислал. — Тимофей неумело перекрестился.

Александр Всеволодович СИЛИНСКИЙ

родился в 1957 году в деревне Александровская

(Костылиха) Тарногского района Вологодской

области. Краевед, поэт, прозаик. Автор книги стихов

«Потерянный рай» (2017) и книги прозы «Может,

счастье ещё впереди» (2020). Публиковался в газетах,

сборниках, альманахах, а также в журнале «Север».

Лауреат премии имени Нины Груздевой (2020).

Член Союза журналистов России.

Член Союза писателей России.

